

Глава 1

Если тебя зовут Маруся Климова, то песню про Мурку ты с детства знаешь наизусть. Потому что в твоём детстве не было ни одного взрослого, который не назвал бы тебя муреночком и котеночком или не напомнил, что ты должна простить любимого.

Впрочем, в Марусином детстве было не так уж много взрослых, которые обращали внимание на кого-нибудь, кроме себя. У нее вообще было странное детство: Марусе казалось, что оно началось в восемь лет. До этого она была взрослая, потом, от восьми до шестнадцати, побыла ребенком, а потом стала взрослой опять. На этот раз навсегда. От сознания того, что детства больше не будет, ей становилось грустно, и она старалась об этом не задумываться.

Маруся зашла на кухню и, не зажигая свет, посмотрела в окно. Окно кухни выходило во двор, и из него было видно, как приезжает Толя. Он всегда ставил свой джип в глубокий «карман» рядом с детской площадкой. Это было удобное место, потому что никто не мог случайно задеть стоящую здесь машину. Толя приложил немало усилий, прежде чем добился, чтобы это место никто не занимал. «Карман» и теперь был свободен, хотя была уже глубокая ночь и машины стояли во дворе так тесно, что выезжать им завтра пришлось бы поочередно.

Маруся прижалась к холодному оконному стеклу лбом и носом. Это была детская привычка — мама

всегда напоминала, что Маруся выглядит в такие минуты особенно нелепой и некрасивой.

— Ты только представь себе этот блин в окошке, — говорила мама. — Нос сплюснутый, на лбу белое пятно... Еще и рот у тебя как у лягушки. Женщина-ожидание во всей красе своего идиотского благоговения перед мужчиной!

Сама она не ожидала никого и никогда, поэтому ее раздражало, что восьмилетняя Маруся ожидает Сергея — вот так, прижавшись лбом и носом к стеклу и прислушиваясь, не свернет ли с шоссе его машина. Их старый деревенский дом был перекошен так, что, казалось, вот-вот упадет, оконные рамы перекошились тоже, и сквозь заткнутые ватой щели гул мотора был слышен издалека.

— Он просто очередной мой любовник, — говорила Амалия. — Он приезжает сюда потому, что ему скучно спать с женой, и не надо связывать с ним никаких иллюзий. Все эти розовые сопли — ах, он любит тебя, как родную дочку! — просто его красивая выдумка, которую он тебе неизвестно зачем внушил. Мы с господином Ермоловым расстанемся максимум через месяц, и для тебя же лучше быть к этому готовой. А не торчать в окошке дурацким пятном.

Но Маруся все равно делала по-своему. Она вообще была упрямая, даже в детстве, просто мало кто это понимал. Вернее, не так: если она что-нибудь чувствовала, хотя бы смутно, то и поступала, как подсказывало ей это чувство. А чувство, связанное с Сергеем Константиновичем Ермоловым, даже и не было смутным. Это было самое отчетливое и самое счастливое чувство ее детства: любовь мужчины, который и вправду пришел в их дом как случайный любовник матери, но при этом сразу, то есть в первое же утро, когда он вышел из маминой комнаты и увидел Марусю, сидящую за пустым кухонным столом, стал ей

ближе, чем все близкие люди, вместе взятые. Маруся не знала, любит ли он ее, как родную дочку, да у него ведь и не было родной дочери, а был взрослый сын, которого она никогда не видела и видеть не хотела, потому что ужасно ревновала к нему Сергея. Но то, что Сергей Ермолов единственный человек, который всегда, каждую минуту помнит о ее существовании, она чувствовала и знала. Ее детство началось с того дня, когда он появился в доме, и Маруся с ужасом ждала, что мама в самом деле расстанется с ним, как все время обещала, и тогда детство снова кончится. Ей не хотелось быть взрослой, ей страшно было быть взрослой в восемь лет! И когда мама сказала, что за детство цепляются только инфантильные дуры, это было первое, в чем Маруся ей не поверила.

К счастью, вопреки маминой уверенности Сергей Ермолов не исчез из их жизни ни через месяц, ни даже через год. Лет в четырнадцать Маруся поняла, что связь с мамой так же сильна, как и мучительна для него. Как только мама входила в комнату, у Сергея менялось лицо — ясная любовь, стоявшая в его глазах, когда он разговаривал с Марусей, исчезала совершенно, сменяясь чем-то другим, чему Маруся не знала названия. При виде Амалии у него возле глаза проступало белое тонкое пятнышко, как будто стрела впивалась ему в висок, и губы пересыхали, и даже голос менялся. Тогда Маруся не понимала, что с ним происходит.

Она поняла это, только когда встретила Толю.

Задумавшись, Маруся не заметила, как его джип въехал во двор. Она спохватилась, увидев, что Толя уже входит в подъезд, и отпрянула от окна. Его, как и маму, раздражало ее нелепое ожидание. Только его оно раздражало не потому, что он был сторонником женской независимости — совсем наоборот! — а по-

тому, что Марусино ожидание обещало зависимость ему, а этого он не терпел. Год назад, в самом начале их отношений, Маруся попыталась объяснить, что все это — и ее дежурство у темного окна, и невозможность заснуть, если его нет дома, и расспросы о том, как прошел его день, — ни к чему его не обязывает. Но он не поверил.

Она включила телевизор прежде, чем хлопнула тяжелая дверь лифта на площадке, — чтобы Толя не догадался, что она опять весь вечер маялась ожиданием. Дом был старый, и лифт был старый, с сетчатой железной дверью, и сердце у Маруси вздрагивало в опасливом предвкушении счастья, когда она слышала этот хлопок и сразу же за ним скрежет замка, и шаги в прихожей, и шорох плаща... Тут она обычно выбегала Толе навстречу, и это были самые прекрасные минуты ее дня. Радость вспыхивала в его глазах, когда он видел ее, это была настоящая радость, первая, а потому безобманная. Потом бывало по-всякому — он мог быть усталым, раздраженным, сердитым на кого-то, отрешенно-задумчивым. Но вот эта первая радость от встречи с нею была всегда, и ради нее Маруся готова была не обращать внимания на любые «потом».

Сегодня он был веселый.

— Не спишь, малыш? — спросил Толя, когда Маруся выглянула в тесную прихожую. — Ну и хорошо! Соскучился по своему малышу, ну, иди ко мне, иди...

И принялся целовать посветлевшее Марусино лицо, гладить ее по голове — совсем по-особенному гладить, как только он умел: запускал пальцы в ее волосы, ворошил грубовато, как траву, но при этом дышал в макушку с любовным нетерпением. Он был кряжистый и невысокий, но Маруся все равно была меньше. Сергей говорил, что она андерсеновская девочка, ростом не больше дюйма. Когда она рассказа-

ла об этом Толе, он с удовольствием согласился. Ему нравилось, что она такая маленькая, в самом деле малыш. Правда, Маруся ежилась, когда он называл ее этим словом, которое казалось ей каким-то нарочитым. Но, в общем, это было неважно. Он ведь называл ее малышом в те минуты, когда не скрывал своей к ней любви, и разве имела при этом значение такая малость, как то или другое слово?

От его усов веяло табаком, крепким дорогим одеколоном, тревожным коньячным духом; голова у Маруси кружилась от этого сильного, едкого мужского запаха. Он был мужчиной до мозга костей, все в нем говорило об этом — и вот этот запах, идущий от жестких усов, и ласковая небрежность пальцев, и то, как он одной рукой подхватывал ее и отрывал от пола, целуя, а потом, в поцелуе же, медленно опускал обратно, так, чтобы, скользя животом по его животу, она почувствовала, что он уже хочет ее, прямо с порога хочет, и обрадовалась бы еще больше, и выбросила из головы свою ревность, которую тщательно от него скрывала и о которой он все равно насмешливо догадывался...

— У тебя что-то хорошее случилось, да? — спросила Маруся, когда Толя поставил ее на пол.

— Почему случилось? — хохотнул он. — Случилось — значит, случайно вышло. А я случайности исключаю. Как сапер! Ну все, все, малыш, дай раздеться. Разбери пока там, в пакете. Я жратвы всякой вкусной принес, коньячку, «Мартини» тебе. Отметим мою удачу!

Толина ласковая грубоватость возбуждала ее так же, как соломенный ежик волос у него на затылке. У Маруси в глазах темнело, когда, обнимая его, она прикасалась ладонями к этим жестким волосам. И даже если это происходило ночью и кругом все равно было темно, то в глазах у нее темнело тоже.

Но страстная ночная темнота ей сегодня еще только предстояла. А сейчас надо было разобраться с едой, которую Толя принес, чтобы отметить с Марусей какую-то свою удачу.

Если он заезжал в супермаркет, то всегда покупал все самое дорогое. Икру — обязательно черную, в большой стеклянной банке; красной он не признавал. Мясо — нежно-розовое, без единой прожилки, такое, что его, казалось, можно есть сырым. Пирожные — замысловатые, как дворцы в стиле рококо. Спиртное — в бутылках с такими этикетками, которые напоминали картины импрессионистов. Вообще-то Маруся не удивлялась дорогим продуктам: Сергей тоже привозил им с мамой не макароны с тушенкой. И все-таки то, что привозил Сергей, было другое. Она не смогла бы объяснить, чем именно другое, но это было для нее очевидно. Все, что покупал Сергей, было какое-то... разное. А в привозимых Толей продуктах была та же одинаковость, что и в его ежевечернем слове «малыш». И так же неважна, как любые слова, была для Маруси эта одинаковость продуктовой роскоши. Она понимала, что он покупает все самое красивое, чтобы ее удивить, и подыгрывала ему своим удивлением.

Все, что он привез сегодня, почти не надо было готовить. Ну, разве что мясо поджарить, но свежее мясо жарилось ведь быстро. Маруся вспомнила, как Сергей когда-то учил ее варить уху из осетрины.

— Я и сам вообще-то не умею, — говорил он тогда. — Но, по-моему, из хороших продуктов легко готовить. Вот увидишь, у тебя сразу получится.

Уха у нее тогда в самом деле получилась такая, словно Маруся была не дочкой своей мамы, а шеф-поваром ресторана «Националь». Сергей вообще всему умел учить так, что у нее все сразу получалось. Раньше, еще до бизнеса, он преподавал математику в

университете, и Маруся догадывалась, что студентам, наверное, хорошо было у него учиться. Но спросить его об этом она не решалась — видела, что расспросы о прошлом для Сергея отчего-то тяжелы.

Во всяком случае, если бы не он, Маруся не уме-ла бы даже жарить мясо. И не только потому, что без него такой роскоши, как мясо, в их доме просто не водилось бы, но и потому, что мама искренне, не притворяясь, презирала быт и не готовила никогда, а бабушка хоть и готовила, но невкусно — как-то слишком просто, даже грубо; каша для Маруси и для поросенка у нее получалась одинаковая.

Маруся накрыла на стол быстро, пока Толя пере-одевался из полковничьей формы в домашние спор-тивные штаны. Наверное, у него сегодня в самом де-ле произошло что-то важное: Толя давно был в от-ставке и форму надевал лишь в особых случаях. Он вошел на кухню неслышно и обнял Марусю сзади так крепко, что она чуть не облилась раскаленным маслом со сковородки. Он был по пояс голый, а на Марусе был узенький топик; волосы, которыми густо заросла его грудь, защекотали ей спину.

— Все, Манюха, время твое на готовку вышло, — поторопил Толя, отгесняя ее от плиты. — Садись да-вай, выпьем-закусим, чем Бог послал.

Маруся посыпала мясо провансальской припра-вой, накрыла сковородку крышкой, выключила пли-ту и вытащила из-под стола табуретку. Но Толя но-гой задвинул табуретку обратно, сел на диван, при-тянул ее за руку к себе на колени и сказал:

— Да не ютись ты на этой жердочке! Лучше меня приласкай и сама понежься.

И как же это было хорошо! Маруся потерлась но-сом о его грудь, чихнула от щекотных курчавых во-лос и счастливо рассмеялась. Толя одной рукой об-нял ее, другой налил себе коньяк, а ей «Мартини».

— Так что же у тебя случилось? — напомнила Маруся. — Ой, то есть не случилось, а произошло?

— Хорошая ты девка у меня! — Он тремя глотками выпил стакан коньяка и на закуску поцеловал Марусю.

— Почему? — Она снова засмеялась: очень уж приятна для нее была такая его закуска.

— А понятливая потому что. Не случилось, а произошло... С полуслова все усваиваешь. С одной стороны, вроде так оно тебе и положено, головка-то в восемнадцать лет не отупела еще. Но, с другой стороны, молодые девки обычно только про себя, красивых, помнят, а ты вот... Эх, малыш, если выгорит у меня сегодняшнее дельце, ты у меня в золоте будешь ходить, икру половником кушать!

— Я и так в золоте хожу, — напомнила Маруся. — Ты же мне только что серьги подарил, хотя у меня уши не проколоты. А икру я есть не могу, я от нее икаю.

— Вечно ты свои пять копеек вставишь, — поморщился Толя. — Поторопился тебя похвалить! А уши, между прочим, ради подарка могла бы и проколоть.

Марусе не хотелось ни прокалывать уши, ни тем более надевать подаренные Толей крупные золотые серьги. Его коньячные бутылки, от которых за версту веет дороговизной, — это было, на ее взгляд, еще ничего, но вдетые в собственные уши серьги, от которых веет тем же самым... Конечно, если бы Маруся почувствовала, что Толе важно, носит ли она его подарок, то проколола бы уши сразу и вдела бы в них что угодно. Но ему это было неважно, и все по той же причине: потому что он был мужчиной и по-мужски не обращал внимания на мелочи. Широка натура, невнимание к мелочам — это было в нем так заметно, особенно по сравнению с мелочностью всех творческих людей, которые окружали Марусю с детства, что она почувствовала это в нем сразу и сразу

влюбилась в него. Во все в нем влюбилась, и в эту его прекрасную невнимательность тоже. Сразу и навсегда.

— Я проколю уши, — заверила она и поцеловала Толю в крепкое плечо, прямо в замысловатую татуировку; это была эмблема части, в которой он служил.

— Сережки хоть вид имеют, не то что твои приколки. Вечно руки царапаю, как все равно не девушку глажу, а кошку.

Челка у Маруси была непослушная — падала на глаза, поэтому Маруся прикалывала ее не одной, а десятком маленьких разноцветных заколок. До встречи с Толей она этого не делала: ей казалось, из-за ярких заколок все сразу начнут обращать на нее больше внимания, чем позволяет ее внешность. Но с Толей ей стало безразлично, что подумают о ней посторонние люди, и первое, что она сделала, — стала прикалывать челку десятком разноцветных заколочек.

— Контракт мы сегодня выгодный заключили, вот что у меня произошло, — довольным тоном сообщил Толя. — Со спортсменами объединяемся на почве игорного бизнеса. Такое вот дело, Маняшка! Спортсмены свои денежные ручейки упустили было, ну а теперь снова на себя повернули. Лицензии на казино будут выдавать. Спорт-то нынче в моде. А мы им безопасность будем обеспечивать. За хороший, понятно, процент. Так что будут тебе сладкие пирожные! Раз икру не любишь, — улыбнулся он.

Пирожные Маруся в самом деле любила, и чем слаще, тем лучше. Не зря бабушка говорила, что такой большой рот, как у нее, бывает только у сладкоежек. Она и конфеты любила, и даже обыкновенную тертую смородину, хотя бабушка всегда экономила и клала в нее слишком мало сахара.

— Я тебя и без пирожных люблю, — зажмури-

шись, сказала Маруся. — Ужасно люблю. — И, помедлив, все же решила добавить: — Мне так без тебя грустно целый день...

— Маня, Маня! — поморщился он. — Сто раз же говорено-переговорено. Ну, могу тебя на фирму взять. Менеджером, например. Будешь с девяти до шести в офисе сидеть, со мной исключительно по делу общаться. И на «вы», как по субординации положено. Надо тебе это?

— Не надо, — вздохнула Маруся. — Я больше не буду ныть, ты не сердись.

— А я и не сержусь, — улыбнулся он. — Как на такого милого малыша сердиться? Я ж тоже, Мань, за тобой скучаю. Бывает, вспомню, как утром в кровати с тобой прощался, так средь бела дня и встанет, даже перед людьми неудобно. Да хоть сегодня — перетираем мы с партнером насчет процента, то-се, и тут как вошло мне вдруг в голову: а вот через часок-другой вернусь домой, а там моя Манечка-карманечка так на шее у меня и повиснет... И все, проценты побоку, только и думаю, как тебя обниму-поцелую, голенькую потрогаю. Раздешься, а, Манюшка? — Его голос прозвучал почти просительно, хотя ни о чем, что было связано с любовью, ему просить никогда не приходилось. — Побалуй старика.

— Какой же ты старик? — улыбнулась Маруся.

— Да уж по сравнению с тобой старик. Тридцать семь, забыла? Но ничего... — Он провел ладонью по ее шее, по плечу, по бедру, и Маруся сладко вздрогнула от его медленного, очень чувственного прикосновения. — Это девчонка молодая должна быть, а мужик к сорока годам только силу набирает. Думаешь, с сопляком каким-нибудь тебе слаще было б?

Маруся вообще об этом не думала. И какой должна быть девчонка, а каким мужик, она не думала тоже — подозревала, что никаких законов на этот счет

нет вообще. Она любила Толю, и ей неважно было, сколько ему лет.

— Ну, малыш, давай, давай! — Он нетерпеливо потянул вниз ее узкий топик. — Чего стесняться, мы ж с тобой одни. Плохо оно тебе?

— Хорошо, — шепнула Маруся. — Я и не стесняюсь.

Все-таки она стеснялась ходить голой, даже при неярком свете кухонной лампы. Но Толе это нравилось, и он часто просил ее раздеться совсем, даже если она просто жарила картошку. Он говорил, что Маруся красавица и ее сладкая фигурка очень его возбуждает. Она понимала, что это не может быть правдой — бабушка не зря называла ее фигуру цыпльчейей. Но слышать, что ее считает красавицей мужчины, от одного взгляда которого у нее темнеет в глазах, было до невозможности хорошо. И если этот единственный мужчина просит, чтобы она разделась перед ним, то почему бы и нет? Ведь вечер с ним наедине — это такое счастье, что все остальное уже неважно...

Маруся мигом разделась и снова села к Толе на колени. Он прижал ее к себе, и она почувствовала, какими твердыми стали мускулы у него на груди, как только их коснулась ее голая грудь.

— Ах ты, кошечка моя... — хрипло прошептал он. — Ягодка моя, наливное яблочко...

Маруся не заметила, как он тоже разделся. И не только потому не заметила, что ему пришлось всего лишь снять спортивные штаны, но главным образом потому, что она уже вообще ничего не могла замечать. От его ласковых слов, от его прикосновений у нее словно струна натянулась внутри, и по струне этой пошел такой сильный ток, что перед глазами заплясали разноцветные пятна.

— Перекинь-ка ножку через меня... Вот та-ак... —

Его голос дрожал и прерывался. — И коленочками меня сожми, и не только коленочками, я засуну, а ты меня там пожимай, поласкай, ну, котеночек, ты же умеешь... Ах ты, сладко-то как!.. Ага, во-от так, и попкой поерзай, как мне нравится...

Он почему-то всегда сопровождал словами все, что между ними происходило в минуты близости; наверное, это было ему так же приятно, как смотреть на то, как она, голая, жарит картошку. Сначала Марусю смущало, что он вслух пересказывает, что делает она и что делает он сам, как будто комментирует футбольный матч. А потом она привыкла, и даже когда его фразы становились отрывистыми, до грубости откровенными, она не обращала на это внимания. Она к другому не могла привыкнуть: что он действительно хочет ее, и хочет так страстно. Он, сильный и красивый мужчина, ее, невзрачную девчонку, на которую ни разу даже не взглянул ни один одноклассник... А слова — что ж, ведь это только слова, и пусть он произносит их, если это помогает ему любить ее.

К тому же она боялась, что он догадается о других ее сомнениях и страхах... После слов и ласк у Толи, конечно, наступало то, что и должно было наступать, и происходило это всегда бурно — со скрежетом зубов и судорожными рывками всего его сильного тела. Марусе же всегда было в этот момент не приятно, а только грустно. Ей было так хорошо от его ласк, что, когда они заканчивались, хотелось плакать. Она понимала, что и сама должна достигать в этот момент вершины наслаждения. Она даже специально прочитала несколько любовных романов, чтобы разобраться, что же с ней должно происходить, и эти последние минуты назывались в них именно так — вершиной наслаждения. Но ничего подобного

с нею не происходило; было только жаль, что все кончается.

Это и сейчас было так. Когда, откинувшись спиной на стол — тот покосился и заскрипел под натиском его широкого тела, — Толя выгнулся дугой и забился в горячих судорогах, Маруся замерла, сжимая коленями его бедра, и подумала, что сегодня все кончилось совсем быстро, наверное, потому, что он выпил полный стакан коньяка. Она заметила: если возбуждение наступает у него после выпивки, то всегда завершается почти мгновенно. Маруся не понимала, почему это так, ведь вообще-то Толя мог выпить в одиночку бутылку водки, даже две, и при этом крепко держался на ногах.

Но разве стоило думать об этом с такой вот секундомерной точностью? Ему было хорошо с ней, а все остальное не имело значения.

— Умница, малыш, — отдышавшись, сказал Толя. — Ох, е-мое, спину схватило... А говоришь, не старик! — Он засмеялся, потирая поясницу. — Вот кончать тебя научу, и можно на половой покой уходить. Ты чего покраснела? Застыдилась, что кончать не умеешь?

— Тебе это... неприятно? — с трудом выговорила Маруся.

А она-то думала, он не замечает!

— Да ну, Манюшка, это ж я просто так сказал, что старик! — снова засмеялся Толя. — Так-то старческих комплексов у меня пока, слава аллаху, нету. Думаешь, переживаю, что тебя удовлетворить не могу? Да ты же маленькая еще, я ж понимаю. Все придет, не волнуйся. Темперамент у тебя вообще-то приличный. Я из тебя со временем такую бабу сделаю, сама себя не узнаешь. Не-ет, кошечка, не одевайся! — Он перехватил ее руку, заметив, что Маруся потянулась к своим лежащим на полу коротким ситцевым брюч-

кам. — И я голый посижу. Будем приятно выпивать и приятно друг на друга любоваться. А там, смотришь, и повторим. Между первой и второй промежуток небольшой!

Толя весело подмигнул Марусе и подлил «Мартини» в ее стакан, хотя она отпила всего глоток. Сам он, как только высвободился из ее объятий, хлебнул еще коньяку и еще больше повеселел.

— Знаешь, я, наверное... — начала было Маруся.

И тут в дверь позвонили — раз, другой, третий. Звонки были хотя и частые, но не тревожные, какими вполне могли бы показаться неожиданные ночные звонки, а какие-то разухабистые.

— Кого еще несет? — удивился Толя и, неторопливо натянув штаны, босиком прошлепал в прихожую. — Кто там? — слышался оттуда его голос.

— Свои! — глухо и весело раздалось за дверью.

— Свои все дома, — ответил Толя.

Впрочем, его ответ тоже прозвучал весело, и тут же щелкнул, открываясь, замок. Маруся схватила с пола одежду, натянула брюки. Топик второпях наделся задом наперед, про трусы она вовсе забыла и, спохватившись, затолкала их между спинкой и сиденьем дивана.

Прихожая наполнилась мужскими голосами, топотом тяжелых ног, шорохом одежды.

— Принимайте гостей, хозяева! — донеслось до Маруси. — Вы как вообще, принимаете старых друзей или?..

— Принимаем, принимаем, — добродушно ответил Толя. — Вообще-то, пацаны, могли и позвонить, предупредить, руки б не отсохли.

— Да ладно, Толян, че ты вообще, крутой босс стал, без вызова не входить? Мы ж не на хвост падаем, все с собой принесли.

Гостей было пятеро. Кухня в старом доме была не

очень маленькая, но они сразу заполнили ее, казалось, до потолка — рослые, плечистые, шумные. Двоих Маруся знала — Толины бывшие сослуживцы, они уже бывали здесь. Трое были ей незнакомы, но, наверное, Толя знал и их. Все они были пьяные, Маруся сразу это поняла, но это не удивило ее и не напугало, как и само появление шумной компании среди ночи. Мама брала ее с собой на тусовки лет с пяти, и Маруся привыкла, что гости приходят и уходят без предупреждения в любое время суток, к тому же вполне может оказаться, что это не гости, а хозяева, решившие наведаться в собственную квартиру, в которую они месяц назад пустили друзей, да почему-то об этом позабыли. Правда, когда мама сошла с Сергеем, Марусины походы на тусовки почти прекратились. Сергей не то чтобы запретил брать ее с собой — на любые запреты Амалия реагировала так бурно, что эффект мог оказаться прямо противоположным. Но всегда почему-то получалось, что в тот самый день, когда мама уезжала по своим делам в Москву, он собирался повести Марусю в театр — уже взял билеты; или привозил для нее книжки — конечно, ей хотелось почитать их сразу же; или покупал новый телевизор, который можно было смотреть, а не только слушать по нему звук без изображения, как в старом, — и ясно же, что Марусю не оторвать было от мультиков про Карлсона и Каштанку... Иногда с его появлением происходило вообще что-нибудь необъяснимое — например, поднималась вдруг ужасная метель, и тут уж даже безропотная бабушка противилась тому, чтобы Амалия тащила ребенка с собой из Туракова в Москву.

Но, как бы там ни было, безалаберной, цыганской жизнью Марусю было не удивить. Поэтому сейчас ей только стало ужасно жалко, что отменяется так сча-

стливо начавшийся вечер, который они собирались провести вдвоем...

Толя если и переживал об этом, то внешне своего переживания никак не выказывал. Кажется, он обрадовался появлению гостей вполне искренне. Маруся давно заметила, что он вообще любит хорошую компанию, даже не очень знакомую, и мгновенно становится ее душой. А эта компания была ему отлично знакома.

— И ты знакомясь, малыш, — сказал он. — Колян, Гоша, Серега. Ну, Витька и Костяна ты знаешь.

— Что ж ты, командир, как мальчишек нас даме представляешь? — засмеялся Колян. — Я Николай Палыч, будем знакомы. А вас как зовут, юная леди?

— А она у меня Манюшка, — ответил Толя. — И ты на нее, Коляныч, не зыркай и закидончики свои брось, понял?

— Ну ты даешь, полковник! — хмыкнул Коляныч. — Я что, совсем без понятия, у друга девчонку отбивать?

— Знаю, что с понятием. — Жесткие интонации в Толином голосе сразу сменились добродушными. — Это я так, для порядка. Пошли в комнату, мужики, закусим, чем Бог послал! Стол с собой тащите, там нету.

Толя снял эту квартиру еще до того, как сошелся с Марусей. В последнее время он часто говорил, что вдвоем в одной комнате тесно и надо найти другое жилье, попросторнее. Но дальше разговоров дело не шло: то он был с утра до вечера занят у себя на фирме, то вдруг уезжал в командировку, то временно кончались деньги, а квартира сдавалась только с оплатой за полгода вперед... Впрочем, Марусе не было бы с ним тесно, даже если бы они ютились в собачьей будке. И даже не потому, что в ее тураковской развальной люхе потолок можно было достать рукой и она к

этому привыкла, а потому, что ей вообще не могло быть тесно с Толей. Ей не только ночью, но и днем хотелось прижаться к нему как можно теснее, а лучше бы слиться с ним совсем.

Но пятеро шумных и пьяных мужчин в единственной комнате — это было, конечно, многовато. Тем более что, изобразив в первые пять минут подчеркнутую вежливость, про Марусю они тут же забыли. Да и не похоже было, чтобы эти мужчины вообще замечали, нравится или не нравится женщинам то, что они делают. К тому же выпили они явно больше, чем могли выпить незаметно для себя и окружающих, и подчинялись теперь той лихорадочной тяге, которая гонит пьяных в неясном направлении — то ли для того, чтобы добавить, то ли для того, чтобы просто выплеснуть дурную хмельную силу.

— Не-е, «Хеннесси» мы не уважаем, — поморщился Серега — или, может быть, Гоша? — Паленого много, отравиться можно. Мы теперь «Курвуазье» пьем, вроде пока жалоб не поступало. Как, Толян, уважаешь «Курвуазье»? А ты чего?

Взгляд, которым он посмотрел на Марусю, поставившую перед ним блюдечко с икрой, был полон заторможенного недоумения. И это почему-то показалось Марусе таким обидным, как будто он швырнул блюдечко ей в лицо. Хотя ничего особенного в его пьяной заторможенности не было.

— Я ничего, — сердито сказала Маруся. — Я вам закуску предлагаю.

Недоумение сменилось в его глазах злостью. Этому тоже удивляться не приходилось: Маруся прекрасно знала, как быстро меняется настроение у пьяных. Но все-таки она поежилась, как будто его бессмысленная злоба окатила ее холодной волной.

— Я те че, пацан? — процедил Гоша-Серега. —

Сам разберусь, жрать мне или пить, поняла? Я закуску вообще не уважаю, поняла?!

Последние слова он выкрикнул совсем уж яростно.

— Все, все, Игореха, не заводись. — Николай примирительно похлопал его по плечу. — Невежливо так с хозяйкой.

— Хозяйка, блин! — буркнул тот. — Пускай не лезет, понятно? Мне такая хозяйка всю жизнь поломала, сука, с лучшим корешем моим спала у меня под носом! И эта туда же — заку-усывай, нечего пустую водяру жрать!

Маруся прекрасно знала, как надо воспринимать логику вдребезги пьяного человека: без удивления, как дождь осенью и снег зимой. И уж точно, что на подобное не стоит обижаться. Но, зная это, она вдруг почувствовала, что у нее щиплет в носу и слезы сжимают горло. Она покосилась на Толю, но тот вряд ли слышал высказывание своего гостя, потому что как раз в этот момент под возгласы: «Давай нашу, командир!» — расчехлял гитару.

Толя вообще не смотрел в ее сторону; было что-то нарочитое в его невнимании, нарочитое и до невозможности обидное. И даже песня, которую он запел глубоким своим, бархатным голосом, звучала для Маруси обидно. А почему, совершенно непонятно: у нее ведь всегда голова кружилась от звуков его голоса и от того, как, сильно и очень чувственно, плясали по гитарным струнам его пальцы. В такие минуты ей хотелось самой стать гитарой, и чтобы его пальцы прикасались к ней, и голос его звучал бы в такт этим прикосновениям...

И почему вдруг вместо всего этого ей хотелось сейчас плакать?

«Дура потому что, — сердито подумала Маруся. — Того и гляди истеричкой стану».

Женщин, готовых в любую минуту закатить исте-

рику по причине неожиданного творческого кризиса, или из-за непонятости миром примитивных людей, или из-за нечуткости мужчин, или еще по какой-нибудь глобальной причине, Маруся перевидала достаточно и вовсе не хотела им уподобляться. Но слезы сдержала с трудом.

Веселье тем временем шло своим чередом. Песня про родное спецподразделение — какая-то замысловатая рифма была в ней к этому слову — сменилась другой песней, про костер и мокрую палатку, в которой спят друзья. Потом петь перестали и только пили, потом Гоша снова закричал что-то про подлых баб, которые ломают жизнь правильным мужикам, и заскрипел зубами, и заколотил кулаком по столу, и даже ударил Николая, пытавшегося его успокоить, после чего Костян и Серега заломили ему руки, поволокли к дивану, на котором как раз перед их приходом Маруся расстелила постель на ночь, и, одетого уложив на эту постель, минут десять продолжали держать, пока он не перестал рваться у них из рук и не захрапел.

Он разметался за спинами у друзей, сидящих у стола, от его подошв отваливались, подсыхая, и падали на простыню комочки грязи... И в этих комочках, почему-то именно в них, Марусе почудилось вдруг что-то такое, от чего слез было уже не сдержать. Она вскочила и выбежала из комнаты.

— Ты что, беременная?

Маруся отняла руки от заплаканного лица и посмотрела на Николая. Тот вошел на кухню незаметно и теперь возвышался над нею как дуб. Какой-то никчемный, лишний и очень назойливый дуб.

— Почему беременная? — шмыгнув носом, глупо спросила Маруся.

— До сих пор не знаешь, почему беременеют? —

хохотнул Николай. — Ну дает командир! Связался черт с младенцем.

— Почему вы решили, что я беременная? — совсем уж по-идиотски переспросила она.

— Так пулей же из-за стола вылетела. Я и подумал, блевать потянуло.

— Ничего меня не потянуло, — сердито сказала Маруся. — А вы что, заскучили с друзьями? Что вам от меня надо?

— Та-ак... — насмешливо протянул Николай. — Вот и недовольство покатило. И ведь говорили ему, предупреждали: все бабы одинаковые, им только покажи слабинку, они на шею тебе сядут и ножки свесят. Так нет: моя не такая, на какую еще шею, да она в рот мне смотрит!.. Не сильно ты, я смотрю, в рот-то ему засмотрелась.

— Это вообще не ваше дело. — Маруся услышала свой голос как будто со стороны, и ей показалось, что она слышит какой-то невнятный писк. — Наши отношения вас не касаются!

— Ой, не могу! — Николай посмотрел на нее так, как, наверное, посмотрел бы на муху, если бы та вдруг заговорила. — Девочка, очнись! Какие у тебя с Толиком могут быть отношения? Малая ты еще, так много на себя брать. Чтоб про отношения говорить, с мужиком не в постели надо покувыркаться, а пуд соли съесть, смерти в лицо посмотреть.

В его голосе, до сих пор насмешливым и спокойным, вдруг послышалась злость. Но не та тупая злость, которой не приходилось удивляться в пьяном Гоше, а какая-то совсем другая, не пьяная, а глубокая и непонятная. Маруся вытерла глаза и удивленно всмотрелась в его лицо.

— Чего смотришь? — заметил он. — Думаешь, у мужика, как у тебя, любовь-морковь на первом месте? Не на первом, девочка, и даже не на третьем. Уж на-

счет этого можешь мне поверить, это я тебе по-дружески говорю, чтоб вовремя от лишних иллюзий избавиться.

Эти слова — про иллюзии, от которых следует вовремя избавляться, — Маруся уже слышала. Ей было тогда пятнадцать лет, и она впервые влюбилась. Он был студентом ВГИКа, и от одной мысли о нем — а думала она о нем все время, когда не видела его из-за лекций или других его важных дел, — у Маруси замирало сердце. До тех пор, пока она случайно не приехала к нему в общежитие немного раньше, чем было договорено, и не застала у него в постели двух голых девчонок. Тогда-то, ничуть не смутившись, он и сказал ей про своевременное избавление от лишних иллюзий. Это оказалось для Маруси таким ударом, что, если бы не Сергей, неизвестно, чем бы все кончилось. Как Сергею удалось тогда убедить ее, что ей еще встретятся совсем другие мужчины, Маруся сама не знала. И только когда она встретила Толю, то поняла, что про других мужчин, которые могут быть в ее жизни, Сергей говорил правду...

— Как вы заботитесь о моих иллюзиях! — сердито сказала она. — И как хорошо знаете, что у меня на первом месте!

— А чего про тебя знать-то? — усмехнулся Николай и, кивнув на кухонный диван, добавил: — Сначала трусы надень, а потом про отношения высказывайся.

Маруся почувствовала, что у нее краснеют не только щеки, но и уши, и даже губы. Она мгновенно представила, как выглядит сейчас в глазах этого огромного, уверенного в себе мужчины — нелепая, большеротая, похожая на зарезанного воробья... И никчемная.

Неизвестно, чем закончился бы этот разговор, если бы на кухне не появился Толя.

— Ухожу, ухожу, — тут же сказал Николай. — Не буду мешать хозяйке!

Последнее слово он произнес с особенной, выделяющей иронией.

— Что у вас тут? — спросил Толя, когда за ним закрылась дверь.

— Ничего. — Маруся жалобно шмыгнула носом. — Просто он... Знаешь, он... Он сказал, что я слишком много на себя беру и что у меня про тебя... иллюзии.

Ей было стыдно сбивчивых, жалобных и, главное, ябедных интонаций в собственном голосе.

— Вот что, Маня, — сказал Толя; Маруся только сейчас заметила, какой мрачный у него вид. — Девчонка ты, ничего не скажу, хорошая, меня во всем устраиваешь. Но! — Он поднял указательный палец, и по этому странному жесту Маруся с удивлением поняла, что он тоже пьяный, притом такой, каким она никогда его не видела. — Ты! Должна! Знать! Свое! Место! — Он выговорил это с неестественной раздельностью, от которой удивление сразу сменилось у Маруси другим чувством, и тоже каким-то новым, странным. — Чтоб ко мне друзья пришли, а баба моя рожу кривила — такого в моем доме не будет. Внятно излагаю?

Он излагал даже слишком внятно. Маруся смотрела ему в лицо и не находила ни одной знакомой черты. Перед нею стоял мужчина, которого она совершенно не знала. Желваки ходили у него под скулами; казалось, он пережевывает камни.

— Внятно, — сказала она, не узнавая и собственного голоса тоже.

— Вот и хорошо. Быстро усваиваешь. И запомни: я с этими мужиками пуд соли съел, смерти в лицо смотрел. Я теперь что, должен, «ай-яй-яй», их поругать, что они мне постельку засрали? Думаешь, не за-

метил, как ты нос воротила от Гошки? Да он в Чечне в плену был, пытки выдержал, не твое соплячье дело его манерам учить!

Камни, которые только что перекатывались под скулами, теперь, казалось, гремели у Толи в горле. Последнюю фразу — слово в слово ту же самую, что и пять минут назад Николай, — он не произнес, а прогрохотал. Кулаки его при этом сжались, и Марусе показалось, если она скажет хоть слово, он ее ударит.

— Испугалась? — Толя заметил ее взгляд на его сжатые кулаки. — Зря. Я баб не быю. Ну, только в крайних случаях, если совсем уж явно нарываюются. Но с тобой, думаю, крайнего случая не будет. — И добавил с той же пьяной, но уже покровительственной внятностью: — Будешь человеком, ни в чем тебе отказа не будет. На меня еще ни одна моя женщина не обижалась. Но за друзей я...

Угроза снова послышалась в его голосе, и это вдруг показалось Марусе таким нелепым, что даже ее растерянность прошла.

— Крайнего случая не будет, — сказала она. — Я все поняла.

Кажется, Толя удивился спокойствию, с которым прозвучал ее голос. Но все-таки он был слишком пьян, чтобы из-за такого спокойствия насторожиться.

— Молодец, малыш. — Он кивнул медленно и одобрительно. — Не зря я тебя подобрал.

— Подобрал? — переспросила Маруся.

— А как по-твоему? — усмехнулся Толя. — Не калым же за тебя заплатил. Мамаша тебе ручкой сделала, а отчиму ты, думаешь, сильно нужна была, или, может, мачехе? И свои-то дети, как вырастут, одна морока. А тем более чужие. Плавали, знаем. У моей одной бабы два пацаненка было, я с ней три года прожил, с перерывами, конечно. Пока маленькие были, еще ничего, забавные, типа щенят. А как подросли,

начали характер показывать, тут я сразу сказал: все, Катерина, или я, или они. Сдавай бабке с дедом. Или папаша родной пускай забирает. Я из командировки вернулся, мне долечиваться надо после контузии, а им музыку дебильную охота слушать, дни рождения справляют, друзья таскаются... На хер мне это надо?

— Сдала? — спросила Маруся.

— Угадай с трех раз, — усмехнулся Толя. — А куда б она делась? Детей наплодить — дело нехитрое, а мужики, малыш, на дороге не валяются, их руками-ногами и всеми интимными местами держать надо. Заруби это на своем маленьком носишке, счастливую жизнь проживешь.

«Как та твоя женщина?» — чуть не спросила Маруся.

Но спрашивать, сумела ли та женщина удержать мужика, избавившись от своих детей, было бы глупо. Год, который Толя прожил не с ней, а с Марусей, явно свидетельствовал о том, что не сумела. Хотя, может быть, этот год был просто очередным временным перерывом в его прежней, привычной жизни?

Эта мысль, от которой день — да что там день, час назад! — Маруся пришла бы в ужас, теперь прокатилась у нее в голове медленно и как-то вяло, не вызвав даже удивления. Да и что такого особенного она услышала? Примерно то же говорила об отношениях с детьми мама. Хотя при этом и не считала, что мужчин надо держать руками и ногами.

— У меня своя жизнь, — говорила она пятилетней Марусе. — А у тебя должна быть своя. Тогда у нас будут доверительные отношения свободных людей, а не психопатские кошачьи инстинкты.

— Инстинктами только кошки и собаки живут, — сказал Толя; Маруся вздрогнула. — А человек головой должен думать. Так что, малыш, подумай своей молоденькой головешкой и прикинь, что тебе дороже,

чистая постелька или нормальный мужик. Вот посиди тут одна и подумай хорошенько.

Удивительно, как много интонаций могло быть в пьяном голосе! Последние слова Толя произнес уже не угрожающе и не покровительственно, а назидательно.

— Я уже подумала, — сказала Маруся, вставая.

— Хорошо подумала?

Толя прищурился; Маруся почувствовала, как напряглись его мускулы. Хотя совершенно непонятно было, как она могла это почувствовать: они стояли шагах в пяти друг от друга, к тому же ей казалось, впервые за этот год, что она смотрит на Толю как-то... издалека.

— Да.

— Пожалеть не боишься?

Эти слова он произнес уже ей в спину. Не ответив, Маруся вышла из кухни.

Глава 2

Ей всегда казалось, что Рождественский бульвар дышит Рождеством.

Именно таким странным словом — дышит — Маруся думала про эту улицу. Когда она была совсем маленькая, то считала, что Москва — это и есть Рождественский бульвар; все остальное оставалось в ее сознании размытым пятном. В то время мама почти каждый день позировала художникам, потому что ее картины совсем не продавались и денег не было даже на корм бабушкиной козе, то есть на молоко для Маруси. На огромном чердаке старинного дома на Рождественском бульваре размещалось много мастерских, поэтому Амалия бывала здесь несколько раз в неделю. И часто брала с собой Марусю. Чердачные мастерские выстывали с первыми осенними холода-